

Гарий
НЕМЧЕНКО

ГОРБАТЫЙ МОСТ



Нет-нет, недаром тогда в командирской рубке «Азова» подначивал меня не кто иной – сам главный штурман Военно-морского флота России.

– Ещё раз посмотрите, – нарочно строго настаивал. – Хата под соломенной крышей... Казак в черкеске. Конь рядом... неужели не видите?

Разумеется, я посмеивался: ладно, мол, Евгений Геннадьич, ладно – хватит «юнгю» разыгрывать! Какие соломенные крыши? Какие там нынче могут быть казаки? Какие кони?!

– А вы посмотрите, посмотрите!

Я снова принимал к окулярам хорошо настроенного прибора, опять поворачивал его мощные линзы, медленно скользил взглядом от одного покато-го окончания острова к другому, почти такому же: выгоревший к середине лета с коричневатыми проплешинами пустынный холм, распластавшийся над синей полосой моря... Серый, судя по окраске, военный катерок неподалёку от еле заметного причала рядом с одиноким белым зданием на берегу и несколько слабо различимых домишек поближе к вершине... Деревенька?

Греческий остров Лемнос, на котором после Гражданской войны бедовали казаки-эмигранты. Как называли они его, Ломонос...

– Ну что, видите? – настаивал главный штурман.

Тогда я так ничего и не разглядел.

Зато через два-три года!..

Какие дали стали мне открываться вдруг дома, в Москве, когда стоял, ткнувшись лбом в оконное стекло, на своём двенадцатом этаже на Бутырской улице... Какие видения вдруг возникли потом в Си-

бири, в нищем теперь, совсем почти провалившемся под землю Прокопьевске! Что я увидал потом на Кубани и Северном Кавказе: не только в Чёрных горах, но, вот ведь какое дело, высоко над ними, чуть ли не в небе!

К Лемносу мы шли тогда, как понимаю, не торопясь, потому что за нашими тремя БДК (большими десантными кораблями) с миротворцами для Косова на борту и с техникой в трюмах следовали ещё два почти таких же. Пропустить через Босфор все корабли сразу турки отказались, отряду предстояло соединиться уже после прохода через пролив – как раз возле Лемноса, в точке четырнадцать.

Прекрасно понимаю, что это «мы шли» звучит примерно так же, как известное заявление мухи, сидевшей в поле на рогах у вола: «Мы пахали». Но что было, то было: писательская судьба неожиданно, как сперва показалось, подарила мне, истосковавшемуся за последние годы, давно заждавшемуся хоть какой-то перемены жизни, романтику и этот морской поход, и позднее, а потому как бы уже слегка насмешливое посвящение в моряки с традиционным подношением стакана солёной забортной воды, вместе с тельником и чёрной пилоткой...

Ранней пташкой я был всегда, а тут вдруг такая возможность – встречать солнце в открытом море. Несколько дней подряд я первым появлялся на полубаке рядом с головными каютами и долго простаивал в полном благословенном одиночестве, но в тот день, как нарочно, поднялся поздней обычного: это-то и дало Евгению Геннадьевичу Бабинову повод надо мною пошучивать.

НЕМЧЕНКО Гарий Леонтьевич родился 17 июля 1936 года в станции Отрадная на Кубани. Окончил факультет журналистики МГУ. Более 10 лет работал в Сибири на стройке, редактировал многотиражку «Металлургстрой». Публиковался в журналах «Наш Современник», «Огни Кузбасса», «Сибирские огни». Живёт в Москве, Майкопе.

– Я полагал, юнга...

Он первый так назвал меня день назад, протягивая подписанный на память о нашем походе «Устав корабельной службы».

– ... полагал, вы все это как раз и разглядите: недаром мы с вами вчера столько о Лемносе...

Как в похожих случаях, когда оказываешься в местах достопримечательных, подобает, я попробовал вызвать в воображении почерпнутые из книжек картинки былого... Вот двое-трое казачков, само собою – в подштанниках, как без них, медленно входят в холодную воду. Вода поднимается уже до креста на груди, и они задирают руки: в правой шашка или кинжал, а левая как бы заодно с ней покачивается... Увидит осьминога сквозь толщу моря или придётся нырять за ним?

Подумать, и в самом деле только в страшном сне и могло привидеться, что на «воstrую» шашку сперва придётся насаживать эту морскую гадину, а после пластать её на студенистые ленты на берегу, подсохнет и за первый сорт пойдёт на еду, а то, глядишь, чего-нито дадут за неё местные греки, тоже уже успели распробовать... Голь на выдумки хитра, эх! Тем более эта голь теперь без отечества, теперь, и правда что, перекатная...

А что кунаки-черкесы?

Ещё недавно одною лавой неслись на красных, но вот англичане, эти иезуиты, придумали, что охранять казаков должны горцы, – и ещё как теперь охраняют, вошли в роль... Никак не могут англикашки простить свой проигрыш в давней Кавказской войне, ну никак!

Может быть, кроме прочего, под австрийским Лиенцем продали потом Сталину казачков ещё по той же причине?..

Отомстить наконец-то казакам, Кавказскую войну выигравшим.

И вот пробовал я всё это, значит, представить на местности: и палаточный лагерь с походною церковкой, и горькую песню из одних мужских голосов, но шло оно вяло и оттого, что час одиночества я проспал, казалось теперь как бы нарочитым.

Вспомнил вдруг картину Сергея Гавриляченко «Лемнос», висящую у него в мастерской в Москве: несколько стоящих на голом берегу одетых уже не по форме казаков печально, с безнадёгой в глазах всматриваются в морскую даль... Угу! Теперь думаю: «Уж не наш ли пришедший сюда через восемь десятков лет БДК «Азов» они высматривают?..»

Но ведь зачем-то он пришёл сюда, наш «Азов». Зачем-то я на нём оказался!..

Оставил в покое окуляры, вышли с Евгением Геннадьевичем из командирской рубки на боковой мостик, и тут я увидел, что неподалёку от нас уже не два корабля, как было с вечера, а три.

– Четвёртый «десантник» подошёл, а пятого ещё нет? – спросил у главного штурмана.

– «Десантники» оба пока на подходе, – сказал он будничным тоном. – А это ночью догнал нас «Шхтёр»...

Я прямо-таки возмутился:

– Какой ещё посреди моря *шхтёр*?

– Спасатель, – улыбнулся штурман. – «Шхтёр» у него название... да вон, вон – и отсюда буквы видать, – и вдруг вдохновился. – Сауна там, между прочим, скажу я вам... Если ещё задержимся, может, катер вызовем? Мне-то всё равно туда надо...

– Нет, но откуда он тут взялся, «Шхтёр»?

– А разве я вам не говорил? – с дружелюбным терпением начал Евгений Геннадьевич. – Он тут неподалёку болтался, а когда мы вышли в Салоники, из Главного штаба получил приказ в точке четырнадцать к нам присоединиться, – и глянул на меня повнимательней. – Он вам чем-то не нравится?

Мало того!

«Не нравится» – слабо сказано...

Но как тут всё объяснишь?

В жизни каждого из нас есть сокровенное, как бы ствольное начало и есть ответвления, есть победы, среди которых, кажется иногда, много не только лишних, но, может быть, для дерева даже вредных...

Таким когда-то считали дружки мой давний побег из Москвы на сибирскую стройку... если быть точным и воспользоваться предосудительными нынче полузабытыми терминами – на ударную комсомольскую стройку. Когда-то мне уже приходилось писать, как следовало потом за мной по пятам моё «ударное» прошлое: в доме творчества в тихих зимних Гаграх Юрий Павлович Казаков, которому понравились мои рассказы тех лет, наставлял меня: «Забудь это слово – «Записиб», и будешь хороший русский писатель...»

Забудешь тут, как же!

Кто в детстве о море не мечтал?.. После школы я собирался поступать в Военно-морскую медицинскую академию, но на комиссии в военкомате вдруг обнаружилось: у меня – дальтонизм. Якобы не могу цвета различать... Пришлось о море забыть. Но через столько десятков лет вдруг сбылось: я на военном корабле! В дальнем морском походе. В роли журналиста, правда. Но, слава Богу, чем эта роль плоха?.. Целый день слоняюсь от кормы к носу, разговариваю с матросиками-первогодками: по поручению командира похода контр-адмирала Владимира Львовича Васюкова пытаюсь восполнить «дефицит общения», с которым, словно с заразной болезнью, прибыли на службу ребята из дальних вымирающих нынче сёл... С рабочими окраин малых сибирских городов, где тоже мало разговаривают: если что, сразу – в морду...

Благополучных детишек среди морячков, считай, нет. Как и вообще нынче в армии: откупают родители.

Между разговорами с морячками нет-нет и приткнусь к офицерскому кружку: капраз, капдва, каптри наперебой вспоминали, как в Средиземном море ещё недавно держали в страхе военные корабли «америкосов», – у этих «дефицит понимания», «дефицит сочувствия», а мне ли как раз их не понимать?.. Мне ли им не сочувствовать?

И вот оно: Чёрное море, Босфор, длинный галиполийский полуостров, на который высадили русских эмигрантов из офицерского корпуса, потом – «казачий» Лемнос... сама история!

Тем более для меня, кубанца... Да что там Кубань, что казаки!

Когда прошли Босфор, позади остался Стамбул, из командирской рубки выглянул Васюков, позвал глазами к бортовым окулярам, где нет-нет да баловали меня наблюдатели: давали иной раз всмотреться в берег.

– Отсюда ничего не увидите, – сказал с нарочитым сожалением. – Но в тридцати километрах справа по борту – то, что осталось от легендарной Трои... Попробуйте представить. Почувствовать!..

Не самое ли время вспомнить новейшие исследования, основанные на полунамёках древних историков: Гектор был славянин, под стенами Трои стояли *наши*... *Русский космос!* До которого, к сожалению, так редко приходится теперь подниматься.

В далёком Мраморном море, на «Азове», ощущение его тонко кольнуло душу, но вот – нате вам: невесть откуда появляется спасатель «Шахтёр», напоминающий мне, «совку» беспросветному, рабское, как уверяют теперь клеймо: сибирское моё «ударно-комсомольское» прошлое...

В удобной двухместной каюте, которую занимал я один, подсел к столу, пододвинул к себе записную книжку, рядом положил ручку и, прежде чем взяться за описание острова, встал и левой рукой повыше уровня глаз поднял овальную, в кожаном окладце иконку святого Георгия, подаренную мне Мухтарбеком Кантемировым как раз для этой цели – для покровительства Уастырджи, как его зовут осетины, в дальних путешествиях, на незнакомых дорогах...

«Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Отца!.. Ты рекл еси пречистыми Твоими усты: яко без мене не можете творити ничесоже...»

Молитва перед началом всякого дела...

И тут вдруг пришло: Ирбек Кантемиров, Юра, старший-то братец Мухтарбека, большой друг и почитатель шахтёров, да-а-а...

Сколько мне принимался рассказывать!

– Можешь поверить?.. Первые после войны гастроли были у нас в Прокопьевске, отец нас туда повёз, и я, ну, как прикипел к нему... удивительный город!.. Весь на буграх, и народ какой-то особенный: хоть где-нибудь на горе, хоть на краю провала,

а непременно – свой дом с коровой и с кобелём на цепи... Обязательно мотоцикл. А с работы он, знаешь, как идёт?.. Почти у каждого на лице синие крапинки от угля и чёрные круги возле глаз. На левом плече за петельку пиджак поддерживает, а в правой у него в пальцах – две бутылки водки. Обязательно две. Не прячет, ни от кого не скрывает – даже как бы наоборот. Даже как бы гордится: а мне наплевать, кто что обо мне подумает... Отработал – иду отдыхать. А приходит в цирк – ну что откуда берётся! Всю страну объехали, где только не бывали, но таких душевных зрителей, как в Прокопьевске, таких понимающих – больше нигде. Как они аплодируют!.. Руки, и правда, отбивают. Кричат, вскакивают, на шею друг дружке бросаются. Плачут как дети... слёзы утирают, ты веришь?.. А после представления – не отобьёшься. Хватают под руки: пойдём в ресторан!.. Мы к этому, ресторану, веришь, настолько привыкли, и официанты с поварами к нам – тоже, что когда и без них, бывало, без шахтёрёв, придёшь уже поздно, а он закрыт, ресторан... Постучишь, а батя в дверях, швейцар: «А-а, осетины!.. Чего припоздали?.. Ну проходи-проходи!..» Не-ет, что ты, в Прокопьевске удивительный зритель. И отец любил туда возвращаться, и я, когда остался за него... Собираюсь на гастроли в Сибирь и, если есть выбор, обязательно говорю: «Мне – Прокопьевск!»

И так живо представил я рассказы Ирбека об этом самом Прокопьевске, о *Прокопé*, как называли его мы, жители соседнего Сталинска, в один момент ставшего потом Новокузнецком, попросту – *Кузней*... Так живо, что встал из-за стола, вышел из каюты на полубак и долго там стоял, вглядываясь в очертания судна-спасателя... Ну надо же!

Уходишь от Сибири, от стальной, от чёрной от угля страны своей молодости, как любил я когда-то обозначать те края, а всё равно он, «Шахтёр», – вот он!

Ты от него – за тридевять земель, а он тебя уже поджидает в точке четырнадцать возле греческого острова Лемнос. И здесь догнал!

Так это и осталось у меня в сознании, как гвоздь в белой стене, на которой ничего больше нет: Мраморное море за Босфором, остров Лемнос, на котором бедовали казаки, и вдруг... вдруг...

Сперва там, а позже в иных краях всё чаще начал припоминать наши с Юрой былые разговоры об этой неумытой, провальной Прокопее...

Как бы между делом в очередной раз сообщая ему, что снова лечу в Новокузнецк, а он – тут же:

– А в Прокопьевске ты не будешь? Не заглянешь туда?.. Я там – уже давненько, эх... Интересные места. И такие названия. Прокопьевск – это сам город, а железнодорожная станция там, если помнишь, – Усяты...

– А зритель та-ам, – начинал ему в тон.

И он ловился:

– Да что ты!.. Это я тебе говорю: такого зрителя нигде больше: ни по стране, ни за рубежом. Даже мексиканцы... Ну выстрелит вверх из револьвера, этим он всё сказал. Но чтобы так радоваться и так понимать...

Конечно, мне это представлялось немножко странным: все эти воспоминания Юры о *Прокопé*. Как-то не без подначки спросил его: что ты, мол, все Прокопьевск да Прокопьевск, может, там у тебя любовь была и никак не можешь забыть?

– Нет, – отвечает. – Ты понимаешь: там зритель особенный. И места, места... Городок, может, помнишь, в тех же краях: *Бачаты*. А по дороге в Кемерово...

– Ясно, ясно! – говорю. – *Барачаты!*

– Это ведь наше «*барачетбысын*». Пожелание изобилия...

И я подхватывал:

– Вот-вот. Изобилие ему!.. Да барачаты – это всего-навсего маленькие *бараки*... Изобилие ему, эх!.. Забыл уже? Я тебе читал как-то стихи моей молодости об этих местах?..

– Припоминаю что-то, но...

И я становился в позу, расправлял плечи и пальцами туда и сюда вёл по усам:

– Расправил я *усаты*, взял руки под *бачаты*...

И Юра начинал улыбаться:

– Ну-ну?

И я вскидывал на уровне груди растопыренную пятерню:

– Да что же вы, *девчаты*, забились в *Барачаты*?!

Отсмеявшись, он просил:

– Ты мне перепиши их.

– Да зачем тебе?

– А ты думаешь, один я те места вспоминаю?..

Поеду в Осетию, прочитаю старым наездникам, они тоже все вспоминают Прокопьевск... Как ты говоришь? *Прокопú*...

Далась им, думал я, эта разбросанная на чёрных шахтовых выработках грязная и почти бесконечная *Прокопá*, без всякой границы переходящая в такой же мрачный соседний горняцкий город – Киселёвск. Страшный этот, похожий на раковую опухоль сдвоенный «мегаполис» шутники-старожилы называют: *Киселёпьевск*.

Потом случилась одна маленькая история, которую помню, кажется, по минутам: настолько она была в духе Ирбека, в его широком, щедром характере...

Летом 98-го приехавшие из разных концов России шахтёры стали палаточным лагерем вокруг Горбатого моста у Белого, будь он неладен, дома...

Сам я к этому времени уже окончательно распрощался с иллюзиями чёрной от угольной пыли

«бархатной революции», уже печально посмеивался над обманутыми горняками и к Горбатовому мосту не спешил: зачем лишние разочарования...

Но тут вдруг мне позвонил адыгейский писатель Аскер Евтых, которому тогда уже перевалило за восемьдесят, и решительным голосом предупредил, что вечером его не будет дома: хочет поехать к Горбатовому мосту, отвезти шахтёрам несколько бутылок минеральной воды – на улице вон какая жара, а по телевизору передали, что они там помирают от жажды... Что ты с ним будешь делать!

Совсем недавно ушла из жизни его жена Валентина Николаевна, Валечка, которую он, и правда, боготворил и о которой написал потом свою последнюю повесть: «Я – кенгуру». О том, что любовь к этой мягкой, деликатной, ласковой женщине всегда носил в сердце бережно, как далёкое экзотическое животное носит в сумке на животе своих малышей... Ах, Аскер, Аскер! «Солдат» – в переводе с арабского, «боец», и в самом деле ведший в Москве суровую жизнь одинокого воина-отшельника, сам он тоже был трогателен, как ребёнок, и чист, и дружбу с ним вспоминаю теперь с болью и радостью, задним числом принимая её как большой подарок судьбы...

Оставшись один как перст, Аскер явно затосковал и, пытаясь поддержать его, я как младший каждый вечер набирал его номер, а он, аульский хитрец, отдаривался тем, что, позвонив иногда, непререкаемым тоном просил пригласить к телефону Ларису Александровну, мою жену. Хотел с ней якобы по каким-то хозяйственным делам посоветоваться, а на самом деле – расспросить о Майкопе: и ей, бывшей майкопчанке, сделать приятное, и самому душу отвести...

Лето стояло действительно жаркое, был август, и он задыхался там на своем двенадцатом этаже, выходил в основном только за хлебом да за лекарствами и вдруг умудрился загрипповать... Приходить к себе запретил категорически, а я как раз купил ему громадный астраханский арбуз. После долгих споров сошлись на том, что в лифте я поднимусь на этаж, на виду у него оставлю арбуз на площадке и тут же захлопну дверцу, укачу вниз.

Все так и было: он, полный властной значительности, в одних трусах уже стоял на площадке, я выложил арбуз, поднял в приветствии ладонь, нажал кнопку... Подходил уже к собственной двери, тоже на двенадцатом, на Бутырской, когда вдруг подумал: «Арбуз никак не меньше десяти килограммов, нарочно такой выбрал – сделать понимающему человеку приятное... Но как же он его затащит в квартиру – после недавнего инфаркта больше двух килограммов поднимать ему запретили категорически!..»

Первым делом бросился к телефону, набрал номер.

– Молодость пришлось вспомнить, – посмеиваясь, сказал Аскер. – Ногой катил арбуз по площадке, а после из прихожей гнал на кухню... Постинфарктный футбол!

И вот услышал, видите ли, по телевизору, что шахтёрикам, бугаям этим, нечего пить, и собрался нести им минералку!

Старая школа?.. Благородное сердце?

Благородное черкесское сердце.

Мне, и правда что, повезло: в этом они с Ирбеком словно соперничали...

В ту пору Ирбек был во Владикавказе, а когда вернулся в Москву, сам я на Горбатый мост ходил уже как на службу: «думскому» журналу «Российская Федерация сегодня», где в то время работал, потребовался очерк о рабочем движении.

– Бываешь там? – обрадовался Ирбек. – Давай сходим вместе: хочу посмотреть, что там на самом деле...

– Я думал, ты осетин решил поддержать...

– Откуда им взяться там? – удивился Ирбек.

– Да вот нашёл одного. Специально для тебя.

– А как фамилия?

– Дзуцев. Тёзка твой. Тоже – Ирбек.

– Дзуцев... Дзуцев, – повторил он, пытаюсь, видно, припомнить. – А по отчеству?

– Может, тебе также – объём грудной клетки и размер обуви?

– Завтра у тебя будет время? – спросил он решительно.

Назавтра мы встретились у станции метро «Краснопресненская». Возле ближайшего киоска я достал бумажник, и он тоже полез за деньгами.

– Что ты обычно берёшь ребятам?

Посмеиваясь, взялся ему рассказывать:

– Это даже как бы не я. Мне тут Аскер... Рвался отнести мужичкам воды, а у самого сердчишко, рассказывал тебе, еле тянет. Куда по такой жаре? Дал ему слово, что вместо него непременно отнесу, и с тех пор у меня проблем нет: беру две бутылки по два литра или три полторашки. И раздаю ребятам. «От черкесского писателя Аскера Евтыха», – говорю...

Он остановил мою руку с бумажником:

– Сегодня будем – от осетин, погоди... Надо было, правда, какую-нибудь сумку, а то в руках как-то...

– Джигиту оно вроде с сумкой не к лицу? – пошучивал я, снимая с плеча свою. – Давай! Так и быть, носить будет русский Санчо Панса, а раздавать – осетинский Дон Кихот...

Пошли мимо стадиона с высокой, окрашенной в чёрный цвет железной оградой, на которой в траурных рамках с красными тряпицами по бокам густо висели фотокарточки погибших в 1993 году.

Мой друг остановился:

– Сколько ж тут народу тогда положили?

– Не знаю, Юра, – сказал я. – По официальным цифрам, что-то около четырёх сотен... А знающие ребята говорят, что по ночам ещё долго сносили на баржи и увозили куда-то за город: никак не меньше трёх тысяч...

Он стащил свою летнюю кепочку:

– Где мы, слушай, живём? В какой теперь стране?

Постояли с ним на краю палаточного городка, осматривая как будто в большой чаше расположенный чуть внизу шахтёрский лагерь, и он спросил:

– Так где, говоришь, мой тёзка?

– С него начнём?

Но прежде мы наткнулись на другого...

Поперёк набитой в порыжевшей траве тропинки явно в позе «поддатого» лежало большое, в рост человека чучело с перекошенным в пьяной улыбке хорошо знакомым лицом...

– Это он на рельсах, что ли? – нехотя улыбнулся Ирбек.

– Вчера на рельсах и был, – повёл я рукой. – Да вон они, чуть в сторонке.

– А этот, значит, отполз?

– Может, кто оттащил... пожалели!

Мимо торопливо прошёл небритый мужичок в трусах и майке, но с шахтёрской каской на голове. Перешагнул через «царя Бориса», пошёл было дальше, но вдруг вернулся, деловито попинал чучело носами грубых ботинок, обтёр потом об него бока своих башмаков и задники, заспешил дальше...

Обувь, считай, почистил...

– Тебе не стыдно? – горько спросил Ирбек, поведя глазами на чучело. – Не за него. За нас?

– Стыдно, Юра.

– Когда за границей выступали, батя всегда говорил: «Жжигиты!.. Пусть каждый помнит! За ним – Советский Союз и Россия. Россия и Кавказ. Кавказ и Осетия. Осетия и село, где родился»...

Голос у него дрогнул, но у меня и без того уже щипнуло глаза.

Когда вышли на край, где стояла крошечная палатка Ирбека Дзуцева и я указал на неё глазами, друг мой протянул руку к сумке с бутылками воды:

– Дашь одну?

По тону его понял, что с тёзкой своим хочет поговорить один на один.

– Побуду пока во-он у той большой палатки, запомнишь? – спросил Ирбека. – Найдёшь меня возле неё: палатка любимых твоих прокопчан...

У земляка он пробыл долго. О чём они там тогда, два Ирбека, два таких разных человека, беседовали?

В папке с архивами Кантемировых до сих пор у меня хранятся листки со стихами тульского шахтёра Ирбека Дзуцева, явно автобиографическими:

Жажущий Атлантики воздуха вдохнуть,
 Потерял надежду – как её вернуть?
 Потерял квартиру, потерял семью –
 Янки обнадёжили, ясно почему.
 Я на баррикадах цепи разрывал,
 Ельцин-разрушитель крепче заковал.
 Наглая бездарность якобы реформ –
 Перешли в России на подножный корм.
 Где же ты, Америка золотых ворот?
 И горит ли факел Статуи Свобод?

Дата внизу: «Март 1995 года».

А вот два года спустя:

Обманным путём у народа
 Вы отняли право на труд.
 Товары заморского рода
 Потоком в Россию текут.
 Зачем россиянам работать?
 Не лучше ли всем торговать?

И тут же две коротких строки: «Спасибо, Ельцин,
 за значок – но я уже не дурачок!»

Прозрел наш туляк, прозрел!

А ещё через год, выходит, уже и созрел. Оконча-
 тельно:

Нарастает гнев народа,
 Никому не устоять.
 Где работа? Где свобода?
 Фарс пора уже понять.
 Пикетируют шахтёры
 У Горбатого моста:
 «Президент и клика – воры!»
 Эта истина проста.
 Будьте прокляты навеки
 За предательство людей.
 Мы – не быдло. Человеки!
 Вдохновители идей.
 Умереть достойно сможет
 Каждый труженик из нас.
 Наша смерть ряды умножит –
 Победим в последний раз!

Под стихами обозначено: «Горбатый мост. Пикет.
 Июль 1998 года».

Человек искренний, эмоциональный, больно ра-
 ненный предательством, Ирбек Дзуцев и в самом
 деле был готов умереть. Потому-то и отдал мне тог-
 да свои стихи: ходил упорный слух, что вот-вот на-
 грянет ночью спецназ либо нанятые «царём Бори-
 сом» бандиты, и от палаточного городка останется
 лишь мокрое место...

Что взять с «простого шахтёрика», если так или
 примерно так думал боевой генерал Лев Рохлин,

погибший буквально через день после того, как
 принял роковое для себя решение: стать во главе
 этой черномазой оравы – вместо самозванного шах-
 тёрского «генерала» Володи Потишного, кубанского
 казачка родом из Ейска...

Бедная наша родина, самими же нами по из-
 лишней доверчивости, по глупости нашей растер-
 занное Отечество!..

...У прокопчан как раз был затянувшийся «пере-
 сменок»: одни пикетчики домой в Сибирь уехали,
 другие ещё не появились, и в громадной палатке
 жил только «дежурный сторож» – пожилой весель-
 чак Петюня, как сам мне представился, тут же сооб-
 щив, что это, само собой, – его «конспиративная
 кликуха»...

Познакомились мы с ним ещё в мой первый при-
 ход к пикетчикам, а накануне я принёс ему пище-
 вой, с широким горлом, термос с «горячим». Тер-
 мос был шахтёрского происхождения: перед этим в
 Новокузнецке нет-нет да приходил с ним ко мне в
 гостиничный номер гроз (горный рабочий очистно-
 го забоя) Коля Ничик, старинный, с детства на Укра-
 ине рабкор, в Сибири постепенно пробившийся в
 писатели. Как я на него ни ворчал, как, случилось,
 ни покрикивал, с хохлацкой щедростью приносил от
 жены, от Надежды Викторовны, «домашнего», а ког-
 да меня провожали домой, в Москву, умудрился-та-
 ки незаметно сунуть термос с жарким в купе вагона:
 дорога, мол, известное дело, долгая, всё съестся!

Теперь я был рад случаю отдариться, тем более
 что подарок предназначался не только Коле – как
 бы всей страдающей нынче шахтёрской братии...

Оглядевшись теперь по сторонам и не увидав
 Петюни, сходу сунулся было в палатку, но вход
 успели преградить двое загадочно улыбающихся
 парней – наверняка стояли на шухере:

– Петюня пока не принимает!

Я прямо-таки опешил:

– Эт почему же?!

– Мамочка у него там.

– Какая ещё «мамочка»?

– Какая-какая, – ворчливо упрекнул один.

Второй свойски объяснил:

– Анпиловская!

Значит, носили они сюда не только воду, не толь-
 ко сигареты, но и кое-что ещё, да-а...

Вся Москва на ту пору, казалось, только этим и
 была озабочена: что предпринять, чтобы миром за-
 ставить шахтёров прекратить стучать касками и по
 домам разъехаться... Лужков якобы ночей не спал:
 думал.

«Да вот, – всё я про себя потом посмеивался, –
 да вот, вот – отправить телеграмму в Прокопьевск,
 на знаменитый Тырган, жене Петюниной». Мол, так
 и так: в палатку к муженьку приходит «мамочка».

Может, в другой какой конец – ещё примерно такую же.

И через два-три дня тут и следов от лагеря не останется – шахтёрские жены разнесут!

Но нет, нет...

Кто-то эту кашу варит и варит: очень она кому-то нужна!

Ирбек появился, чем-то явно расстроенный, таким я его редко видел. Будто успокаивая себя, обе ладони положил на шпалы чугунной ограды, за которой стояла полиэтиленовая, похожая на парник большая палатка, кивнул на табличку с крупными буквами: «Прокопьевск».

– Хоть тут – люди как люди!

– Какие, знал бы ты! – начал было я, отводя его чуть в сторонку.

Уже готов был потихоньку сказать ему о Петюне, который парится, бедный, с «анпиловской мамочкой», и понял вдруг, что не время ему об этом рассказывать... Вообще не стоит... Нельзя... Далась ему эта чистая, прямо-таки юношеская любовь к Прокопе!

Собрались с ним уходить, шли к выходу из городка, когда нас догнала молодая журналистка из Воркуты, с которой я уже достаточно хорошо был знаком:

– Говорили, наш оркестр вам понравился... Может, останетесь послушать?

На свободной площадке в центре городка уже выстраивались четырёхугольником мальчишки с трубами, уже стоял перед ними с поднятой рукой дирижёр...

Детский духовой оркестр был из Чебоксар, из Чувашии. Накануне руководитель его, когда разговаривались, показал дарственные часы от президента Николая Фёдорова, сказал с уважительной улыбкой:

– Любит нас... И мальчишек, и вот меня с ними.

– Тут как-то по телевизору проскочила информация, что он-то как раз против забастовки? – спросил его. – А вас сюда прислал...

И дирижёр повёл ладошкой:

– Не Фёдоров!.. Только и того, что глаза, как горюются, прикрыл... А деньги на поездку Меркушин дал, депутат Госдумы – это он всё поднимает шахтёров...

– Каникулы на Горбатом мосту? – сказал я сочувственно.

И он горячо откликнулся:

– Не говорите, в центре Москвы торчим, а Москвы, считай, и не видим... Только и того, что конфеты московские... задарили! Они уже нос воротят. Но обстановка тревожная... уедем на экскурсию, а вернуться вдруг будет некуда. Да ещё трубы... пропадут или побьют их. А это уж Фёдоров давал деньги. Такие инструменты дорого стоят...

Оркестр ударил «Прощание славянки», и душа отозвалась тонкой болью: хрупкие мальчишки посреди этого грозного лагеря бунтарей... Кто-то здесь наивен, как Ирбек Дзудцев, и так же, как он, непримирим, а кто-то давно всё понял... Знает, что не в шахтовой кассе, а тут сейчас лежит его заработок... Скольких из них увижу потом на съезде шахтёров в дорогих костюмах, модных рубашках, новеньких мокасинах... Во что превратилась эта чёрная от угольной пыли, чумазная революция!.. Что ж, что лежит теперь посреди лагеря тряпичное чучело президента – сам он, въехавший на их горбу в Кремль, сидит там живой-здоровый... Ну, может, не досмотрели – так же, как тут, лежит...

– Здорово у них получается! – с теплотой в голосе негромко сказал Ирбек.

И я отозвался:

– А ты думал?

А мальчишки уже заиграли «На сопках Маньчжурии»: и старые, ну, как будто бессмертные, наши беды опять припомнились, и горе-горькое наше, и общая наша русская вина за всё, что произошло с родиной... Что нынче происходит...

– Дети, считай... И так играть! – растроганно проговорил Ирбек. – Ты веришь: не хуже наших цирковых лабухов.

– Ну конечно! – поддержал я с нарочитой иронией. – Эталон мастерства: ваши лабухи. Как ещё перед утренним представлением, поди, надерутся...

Но он не слышал меня:

– Лучше!.. Я тебя уверяю, лучше...

Вечером он вдруг позвонил мне домой:

– Не спишь ещё?.. Ты ведь у нас – вместе с курами. Хорошо, что не спишь, я только что из цирка. Двадцать контрамарок им хватит?

Я сперва не понял:

– Кому?

– Кому-кому, – проговорил он ворчливо. – Ребятишкам этим. Оркестру. Давай так: ты с утра съездишь, скажешь им. Сможешь? Найдёшь время?.. А я буду у входа ждать в половине седьмого вечера... Решено?

– Какой ты молодец! – искренне сказал я. – А я вот, видишь, не догадался попросить тебя... Опять джигит – в роли доброго волшебника, Юр?..

– Ты на мой вопрос не ответил! – сказал он нарочно строго. – Ты сможешь?

Назавтра хотел приехать к зданию цирка первым, но он уже ждал там. Опять стал было от чистого сердца его благодарить да подхваливать – какая, мол, для ребят радость! Но он ворчливо остановил:

– Я о другом, ночью... не спал, веришь. Что вообще с ними будет? И с этими ребятишками, и кто поменьше, и кто родится потом... Не выходит из головы! А контрамарки – это мелочь... Держи!

– Нет-нет! – отвёл я его руку. – Проведёшь сам. Пусть они запомнят: не кто-нибудь пригласил – джигит Ирбек Кантемиров, осетин...

И он невольно вздохнул:

– Кантемиров-то ладно... Но ради Осетии...

Мальчишки появились большой и шумной оравой, в середине и по бокам шли принаряженные шахтёрики, и я улыбнулся:

– Опять тебе придётся в дверях двух за одного считать?

Напомнил ему, как однажды мой младший сын, попросивший через меня пять контрамарок, привёз потом на представление больше десятка казачат, и я, что называется, схватился за голову, но Юра твёрдо стал напротив пожилой билетёрши и с нарочито серьёзным видом взялся проталкивать ребят по двое:

– Одна пара... две пары... три... сколько там, Нина, – пять?

Улыбаясь помолодевшими глазами, женщина повела ладошкой:

– Всё равно не хватит... Пусть все!

Когда все казачата оказались в фойе, с серьёзным видом спросил его:

– Что ж ты не рассказывал?

Он поймался:

– О чём?..

– Что ты не только джигит – ещё и старый фокусник?

И он рассмеялся, довольный:

– Это цирк!.. Хочешь или не хочешь, всему научишься.

Теперьшние его гости, конечно же, засиделись там, на Горбатом мосту – ещё на подходе толкали друг дружку, кричали, громко смеялись... Но то ли началось, когда в фойе каждый нацепил себе купленный в цирковой лавчонке большой красный нос, каждый в левой держал мороженое, а правой пытался отбиваться зажатым в пальцах продолговатым, как огурец, длиннющим воздушным шариком...

– Как ты думаешь? – глядя на них, нарочно серьёзно спросил у меня Ирбек. – На представление они пойдут? Или им и этого, их собственного, хватит?

И я расхохотался, недаром же Никулин накануне записи передачи «С лёгким паром!» «подзанимал» у Юры анекдоты, недаром его шутки потом озвучивал!

Прошли с ним в директорскую ложу, откуда хорошо было видно, как мальчишки рассаживаются на своих местах... Расселись и тут же чуть не разом притихли.

– Смотри, какие пай-мальчики! – повёл на них глазами Ирбек.

– А ты, небось, думал, что они арену займут?

– Сейчас будет оркестр, – проговорил он. – Я уже их подначил, сравним...

Всё глядел на мальчишек, а я опять вспомнил уже давний теперь приход на Цветной бульвар казачат... Многим, понятно, не досталось мест, Ирбек одного над другим рассадил их под деревянным бортиком на ступеньках в проходе, и я тут же решил, что мы с ним сделали всё что могли, но он тихонько скомандовал:

– За мной давай-ка – не отставай!

Быстро прошли какими-то хитрыми переходами и оказались в буфете.

– А, дядя Юра! – дружелюбно встретила его молодая буфетчица. – Что, любимого вашего, томатного? Один стакан? Два?

– Три! – сказал он ей в тон. – Только не соку, а три картонных коробки из-под сока... Найдёшь?

– Конечно, дядя Юра, для вас...

– Разрывай и складывай вот так! – приказал он мне, когда буфетчица принесла нам коробки.

– Что надо, не пойму...

Сам он уже растерзал одну:

– Видел, где мы их посадили? На камень... на бетонные ступеньки... дети! Долго им простудиться? В несколько раз складывай... под попку...

Там сидел и мой внук, сидел Глеб, которого Георгий, сын, специально туда определил, чтобы остальным не было обидно... Но почему не я, а Ирбек тут же бросился искать эти коробки, ну почему?!

110

Держа около груди по охалке вчетверо сложенного картона, зашли потом на конюшню за кусками попоны, тихонько вернулись на представление: в круглом зале держалась напряжённая тишина, головы у всех были задраны – под куполом работали акробаты. Он попридержал меня у входа на верхнем ярусе, а когда ударила музыка, обвалом грохнули аплодисменты, подтолкнул плечом, кивком позвал вниз.

– Привстань-ка! – шепнул первому мальчишке, тот послушно приподнялся и сел уже на картон с кошмой.

Шагнул ещё не ступеньку вниз:

– Привстань-ка!

Но казачок попался упёртый. Руками схватился за край ступеньки.

– Чи-о?! – спросил громким шёпотом.

Не знаю, почему это Ирбек перешёл вдруг на «цирковой-изысканный»:

– Приподыми-ка мадам Сижу!

– Чи-о-о-о?! – совсем потерялся казачок.

– Задницу приподними! – перевёл Ирбек на родной наш язык, на обыденный.

...И вот когда его не стало, когда так неожиданно ушёл, когда Москва так недостойно простилась с ним: ни траурной рамки в газетах, ни слова по ра-

дио, ни хоть коротенького сюжета по телевизору, я, младший, вдруг ощутил настоящее горькое сиротство...

Оказалось, наш с ним шуточный договор о беспрекословном соблюдении горского, кавказского «кодекса чести» в стремительно опускающейся в омут «общечеловеческих ценностей» столице был и в самом деле надёжным щитом от нарастающей во круг разнузданной пошлости и густопсового хамства...

Неужели останусь теперь со всем этим один на один?

Неторопливо и честно писать о джигитах – так, чтобы ни мне самому, ни Ирбеку, ни обоим нам не было стыдно, – с годами вошло у меня в привычку, сделалось добровольной обязанностью. Давно уже понял, что это мне на роду написано – о них рассказать, но не спешил, не торопился – вон как пока силен и красив, как подвижен и крепок, как духом могуч мой друг!

И вот ушёл, а я о чём-то не расспросил его, чего-то, может быть, недопонял, что-то благополучно успел забыть... Издержки «вольных хлебов»... Может быть, слишком «вольных»? При которых вроде бы никому ничего не должен, никто тебя не торопит... Откуда же теперь эта горечь горькая?

Не позвонит, не пошутит, никуда не позовёт больше, не приободрит не только взглядом – одним своим благородным, полным кавказского изящества и ненарочитого достоинства видом...

В один из тоскливых дней после гражданской панихиды на арене пустого полутёмного цирка отправился к общему нашему с Ирбеком товарищу, работавшему тогда в «Парламентской газете» однокашнику Саше Алёшкину. Сам он отлучился по делам службы, но сидевшие в кабинете за шахматами его коллеги передали, что просил обождать, и я сел в сторонке, невольно приглядываясь к игравшим: так безобразно громко они кричали и спорили... Мало, мало того! В кабинете стоял сплошной мат, всякий очередной ход сопровождался грязной руганью в изошрённой, отвратительной форме... Хотя всего-то газетчики – тоже «мастера» слова!

Вскакивали и потрясали кулаками, раздёргивали якобы неперемённые – положение обязывает! – галстуки, хватались за жиденькие волосы на давно полысевших головах, сгибались и разгибались, в забывчивости некрасиво почёсывались, и у каждого был такой вид, будто сейчас то ли пукнет, а то ли, расстёгивая молнию на ширинке, шагнет в угол...

Мне вдруг показалось, что они меня разыграли, никуда Алёшкин не уходил – вот же он, вылитый, только и того, что на белёсом худощавом лице воспалённые глаза сильно подкисли и пену в уголках рта давно вытереть не мешало бы...

Блажен, кто подобного душевного смущения не испытывал!

Я встал, вышел и никогда больше не звонил Алёшкину и никогда не заходил к нему... Ты уж извини меня, Саша, так получилось!

Правда, в этот первый год без Ирбека случилось одно радостное и чуть загадочное, мистическое, если хотите, событие...

Валентин Распутин позвал меня осенью в Иркутск на проходивший здесь уже который год праздник «Сияние России». Встретил нас, небольшую компанию москвичей, в аэропорту и почти тут же отвёл меня в сторонку:

– Ты не обидишься?.. Расписывал тут, кто куда поедет, и тебе выпали рабочие города – Братск и Усть-Илимск... Поймёшь правильно?

Чего ж не понять? Больше десятка лет на «ударной комсомольской» стройке в сибирской молодости, это, братцы мои, на всю жизнь.

Осень стояла удивительная, с пылающими яркой желтизной лиственными лесами, которые тянулись и тянулись под небом удивительной голубизны, и я был рад, что сказочный этот вид продлился для меня благодаря почти немеренным расстояниям по железной дороге уже внутри области – до чего она, страна Сибирия, действительно велика!

В Братске спустился к берегу Ангары, умылся речной водой и постоял, улыбаясь давним годам...

*Навстречу утренней заре –
По Ангаре, по Ангаре!..*

Как тогда выпевали наши девчата именно эти слова... да!

«Девчонка, девчонка танцует на палубе», – эти тоже...

Каждая тогда думала, что хоть и далеко Ангара, но это, конечно, – прямо-таки о ней... Где тогда, интересно, был Рыжий Толян, который и Ангару тоже теперь, считай, прикарманил? Сколько ему тогда было лет?

Посреди вечера в одном из читальных залов ко мне под села очень скромно одетая худенькая пожилая библиотечка, положила передо мной старый мой престарый роман «Пашка, моя милиция», – ну до того истрёпанный и клеенный-переклеенный!

– Помню вас я с нашей Антоновской площадки, с Запсиба, – взялась тихонько нашёптывать. – Тогда все: «Братск, Братск», а у нас ещё ничего, до разворота далеко было, помните, тишина, и я сюда приехала, за романтикой.

Спросил по инерции:

– Нашли?

Как печально она посмотрела на меня: был взгляд раненой птицы, оставшейся жить в чужом краю... Бедные вы мои! Какая там «утренняя заря», какая «палуба»!

...Как раз в этот миг, сейчас, компьютер «нового поколения» – благодаря добрым людям только что задёшево приобрёл у одного богатого «продвинутого», которого он уже перестал устраивать, – так вот, эта бездушная машина что-то и дело теперь подсовывает в мой текст: то советы, а то готовые наработки, попыталась тут же напомнить мне о полузабытом в нашей жизни клише «заранее благодарен», и я вдруг горько подумал, что это, может быть, единственная благодарность, которую заслужило бедовашнее на десятках «великих» строек, на сотнях чуть меньше них, моё поколение... Продающий эти машины далёкий чужой миллиардер и тот понимает и, в отличие от наших новоявленных, выходит, как бы сочувствует забытым и обездоленным!..

Но настоящую радость мне пришлось испытать в Усть-Илимске.

Мы были в только что создаваемой местной художественной галерее, когда речь зашла о Кавказе и кавказцах.

– Вы в тех местах бывали? – спросила у меня милая молодая женщина, руководитель галереи. – Хотя немножко их знаете?.. У нас тут небольшая проблема: на первых порах, конечно же, приходится чуть не по всей стране побираться, вот Москва и прислала нам две очень хорошие графические работы, но кто на них...

Работы тут же из запасника принесли, я глянул...

Как-то уже пытался писать, что нет ничего случайного, во всем – промысл Божий.

С одного листа глянул самый старший Кантемиров, уже в почтенных, очень почтенных годах, Алибек Тузарович, глава династии. С другого смотрел на меня мой друг Ирбек.

Пришлось достать из кармана пиджака Мишину иконку в твёрдой, в виде подковы, оправе из кожи.

– Как хотите, это она к вам привела! – сказал, перекрестившись. – Георгий Победоносец, которого осетины зовут Уастырджи. Считается – покровитель мужчин, воинов, путников. Как шутливо в Осетии говорят: министр путей сообщения. Мне её подарил в своё время знаменитый наездник и каскадёр Мухтарбек Кантемиров. – «Не бойся, я с тобой», двухсерийный фильм, может, помните? Там он в главной роли. А здесь его отец и его старший брат.

– Вы уверены?.. Это точно? – стала допытываться руководительница музея. – Мы писали художнику, хотели, чтобы он нам ответил...

– И он не ответил?

– Да, почему-то не ответил.

– К несчастью, он пропал.

– В каком смысле?

– В прямом, – пришлось сказать. – В самом прямом...

Действительно подлое время, которое столько уже поглотило одного за другим! Никто не знает,

куда делся Заурбек Абоев, умница и красавец, талантливый осетинский график, писавший неплохие стихи... Ирбек уже был тогда главой землячества, с помощью высоких милицейских чинов тоже попробовал искать его... Нет!

Но вот остались прекрасные его работы, и две из них чудом переместились в Сибирь, которую так любили отец и сын... Мало сказать, в Сибирь – в самый центр её, в самую глубину-глубинку!

– Вы нам пришлёте хоть что-нибудь о них? – попросила директриса музея.

В Москве я первым делом позвонил Мухтарбеку, рассказал об усть-илимском музее, дал адрес, и оба мы потом слегка растрясали наши «кантемировские» архивы – ради сибиряков...

И вот дома, опустив голову, почти касаясь лбом оконного стекла, стоял я, невидящими глазами глядя на свою Вятскую, по которой неслись машины, и всё размышлял, и всё пытался понять...

Ну, с ребятишками ясное, предположим, дело: Ирбек никак не мог дожидаться внуков – Марик не торопился связывать себя женитьбой, не торопился, и вот она где прорывалась, эта любовь к детишкам и эта боль.

Недаром ведь о них всегда: *династия Кантемировых*.

Династия!

А продолжателя нет...

112

Через несколько лет мы созвонимся с Володей Ли, главным администратором цирка на Цветном бульваре, тестем Маирбека, который будет в то время с гастролями в Англии, созвонимся и съедемся на развилке дорог недалеко от Звенигорода...

Счастливый Володя, дитя корейца и «широй» украинки, прошедший суровую цирковую школу бывший акробат, вылезет из машины с годовалым бутузом на руках:

– Знакомься, Юра, с дядей! – начнёт говорить ему. – Он друг твоего дедушки... знакомься, Ирбек!

Пробую черноглазого малыша взять на руки, но раздаётся такой густой, мощный рёв!..

– Ну-ну, – скажет Володя. – Ну-ну, а то и отец с матерью там услышат... Англичане им продляют контракт, представляешь? Они вообще запрещают кому бы то ни было появляться в стране с парнокопытными, а тут был такой успех, что предложили ещё на несколько месяцев остаться. Послезавтра директор сам полетит подписывать договор.

Так вышло, что «послезавтра» мне пришлось прийти в цирк на Цветном бульваре, чтобы повидаться с Татьяной Николаевной Никулиной... От неё, сидевшей в кабинете покойного мужа, Юрия Владимировича, только что стремительно вышел с бумагами их сын Максим, нынешний генеральный

директор, в приёмной чуть не налетел на вошедшего с кипой чёрных бурок в руках Володю Ли, промчался в свой кабинет.

– Маирбеку хочу с ним, – торопливо сказал на ходу главный администратор, ношей своей раздвигая оставленную приоткрытой дверь в кабинет генерального. – Говорил, что сейчас улетает.

Зато какое спокойствие царило там, где сидела Татьяна Николаевна!

Превращённый в музей кабинет Юрия Владимировича, и при нём ещё уставленный сувенирами со всех концов света, теперь, что называется, ломился от них, и сама она, уже очень пожилая, сухонькая, после нескольких дней болезни поплёкшая тоже невольно гляделась тут одним из многочисленных экспонатов.

Заговорили о Кантемировых, и Татьяна Николаевна очень медленно, будто потихоньку доставая это из памяти, стала рассказывать, как в давние, теперь предавние времена, когда выпадали совместные с осетинскими джигитами гастроли, Мариам Хасакоевна, которой и без того приходилось заботиться о своих трёх мужчинах, заодно брала на свой кошт Никулиных, как вкусно она готовила и кавказские блюда и русские щи, как тепло и весело было за общим большим столом...

И тут стало происходить что-то удивительное: на глазах она начала оживать, начала как бы молодеть... Скрывавшие до этого усталую боль глаза зажглись, заискрились, на впалых, давно не выдавших косметики щеках появился яркий румянец. Как очаровательно она улыбнулась!

– Если бы тогда вы их видели: Ирбека и Мухтарбека! – сказала вдруг зазвеневшим голосом. – Юру и Мишу... Какие, и правда, были красавцы!

Но почему их всё-таки так тянуло в Сибирь?

Вышагивая по своему не очень просторному кабинету как бы положенные для печальных раздумий километры, однажды остановился, постоял так, словно к чему-то далёкому прислушиваясь, и вдруг вlepил себе в лоб раскрытой пятернёй: туха-матюха!..

Как о таких, вроде меня, молодцах в родной моей станице говаривали...

Или это уже из того, что в других, в далёких от Кубани краях было услышано и стало потом моим?..

Так и тут: всё на свете одно с другим переплетено, всё связано-перевязано, тем более на просторах нашей Руси-матушки, где многое перемешивали, перетасовывали ещё и нарочно!

«Что ж ты, – подумал о себе, – что ж ты уже столько лет, стреляный вроде воробей, о джигитах размышляешь как бы отдельно, о казаках – отдельно и так же о них всегда пишешь... Да ведь ссыльные казаки и были в Сибири теми самыми зрителя-

ми, которые душеньку свою отводили на представлениях джигитов!

Да как же ты раньше до этого не дошёл?

Опять, как в нашей станице, *недотумкал?!!*

А ведь было тебе столько знаков: да тот же спасатель «Шахтёр» около Лемноса, который одним своим неожиданным появлением должен был в твоём сознании многие концы и начала соединить! Не отсюда ли тысячи казаков разбрелись потом по Европе, в каких только странах не осели, родили детей, многих растили в русских школах да кадетских корпусах, оказались с ними в немецком Казачьем стане, в корпусе у генерала фон Паннвица, в австрийском Лиенце, где так жестоко англичане их предали, и в телячьих вагонах покатали оттуда в Кузбасс... А кто их тут встретил?

Бедолаги, которых с Дона, с Кубани, с Терека выслали сюда двумя десятками лет раньше: во времена расказачивания-раскулачивания...

Кто все эти шахты бил?... Кто металлургию да химию поднимал?»

В большом очерке «Последнее рыцарство», который был опубликован в первые годы шумно разрекламированного, но так пока и не состоявшегося нашего «возрождения», которое в пору уже *«вырождением»* называть, рассказал, кроме прочего, об отце старого своего друга Николая Бурмы, выросшем сиротой лихом красном казаке с Терека. Как раз из-за его сиротства да из-за природного удалства не однажды пощадили его сердобольные, старше возрастом белые... Очерк этот многим тогда понравился, а Коля, посмеиваясь, сказал мне:

– Хочешь, я тебе – продолжение?... Когда распределился на работу в Междуреченск, через год-два приехал ко мне отец. Денёк-другой погостил и говорит вдруг: «Съезжу-ка я, сынок, в Прокопьевск. После гражданской туда половину нашей станицы вывезли... Как они там?... Хоть одним глазком глянуть!..» Вернулся оттуда мрачный и говорит: «Хорошие ребята, но больше я туда не поеду. Стоит выпить стакан, и каждый тут же – во вооружённом восстании... Нельзя к ним ездить, сынок, нельзя, а то ведь загребут вместе с ними!»

А книжка Евгении Владимировны Польских «Это я пред тобою, Господи!»?... Искусствовед по профессии, работала в Москве, уехала во время войны в родные края, на Ставрополье, тут во время оккупации вышла замуж за казака, который вернулся с немцами, с ними оба ушли: муж её издавал у Паннвица газетёнку «Казачьи ведомости»... Ну прямо-таки, как ваш покорный слуга – в Союзе казаков у батеньки Мартынова... В Лиенце их взяли вместе, но на первой же «нашей» станции разделили: офицеров потом провезли дальше, вглубь Сибири, и о муже она ничего больше не слышала, а основную массу «простых казаков» разбросали по зонам «Кузбасслага» да «Южжубасслага»: в Кемерове, Ленин-

ске-Кузнецком, Белове, Киселёвске с Прокопьевском, Мысках, Междуреченске...

Читал книжку, изданную после очередного её возвращения в Ставрополь, уже в девяностые, и вдруг наткнулся на фразу, от которой зашлась душа: «После ласковых имён кубанских наших станиц – Отрадная, Спокойная, Привольная – ранили даже грубые названия здешних мест: Тайбинка, Тырган, Сибирга...».

Но для меня-то и они звучали торжественной музыкой!

Что говорить о чуть ли не родном прокопьевском Тыргане... В шуточных стихах беспечной молодости была воспета и соседняя с Новокузнецком Сибирга:

*Сибирга, Сибирга!
Приготовь стопарик.
К тебе едет дядя Га...
Дядя Сибир-Гарик!*

Ну что делать, если комсомольские наши стройки возникли потом в тех местах, где перед этим были лагеря с нашими же земляками, а то и близкими родственниками... Думаю иногда, может, побывавши на преддипломной практике в Кузбасе, оттого-то и рвался потом в Сибирь, в места казачьей гибели, что Божий промысел для меня был как раз об этом и рассказать, но за шумными песнями о «величавой Ангаре», о том, как «девочка танцует, танцует на палубе», я его тогда так и не расслышал и начинаю различать только теперь, когда размышляю о своём друге-джигите...

Ведь, представьте себе, действительно, вы только представьте: бить и бить в глубине эти чёрные норы, в которых тяжёлая земля во время обвала навсегда засыпает твоих товарищей... Если пласт угля невысок, годами потом стоять в этих норах на коленках; пить после безрадостной смены вусмерть, чтобы забыться и хоть как-то отдохнуть... И вдруг по городу слух: «Джигиты приехали!»

За тридевять земель от родного дома сидеть среди немногих выживших станичников под брезентовым пологом шапито, втягивать жадными ноздрями лошадиные запахи, слышать тихое ржание, и – вдруг, вдруг!

С лихим гиканьем стремительно врываются на арену горячие кони с лихими наездниками в черкесах и высоких папахах – будто из недавнего прошлого...

Да так ведь оно и было: полвека назад на ростовском ипподроме совсем молодой тогда осетин Алибек Кантемиров учился джигитовке у донских казаков, а теперь их детям и внукам передавал, несчастным страдальцам, привет с их зелёной и тёплой родины...

...Они восстали-таки, но поздно, поздно, когда позвали их уже не свои – позвали чужие, недаром ведь среди шахтёрских вождей оказалось столько немцев или якобы немцев, которые преспокойно потом уехали кто в Германию, кто в Израиль: приторговывать там сибирским угольком да металлом...

– Говоришь, недавно был у нас, тогда, может, видел эту картину? – расспрашивал меня возле Горбатого моста «дежурный сторож» Петюня. – Её теперь на всех митингах выставляют, на всех праздниках, «Прокопьевский петух» называется. На перекладине мощный кочет с такими шпорами, что будь-будь, ударил крыльями, задрал голову – прямо-таки слышать, как орёт... А перед ним вполнеба – зоря!

Занялась над родиной, как же...

– И Норильск, и Воркута – это уже потом. И междуреченские ребята с шахты Шевяковой – это после. А первыми наши прокричали: в Прокопьевске!.. Почему я себе и кликуху эту – Петюня. Наш петух первый свободу объявил!

Как всё же хорошо, что я не стал тогда Ирбеку о Петюне из любимой его Прокопы рассказывать!..

г. Москва

